

ний старец Шишков начал читать вслух мои пламенные страницы, Гнедич хвалил, и все прочие аристархи почтили восемнадцатилетнего юношу своими ободряющими отзывами*.

А. Стурдза

АРЗАМАС**

Весной (1815 года) решился, наконец, Жуковский приехать в Петербург на житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей императрицы, которая любила в нем певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего. Несмотря на новый образ жизни, Петербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нем. Тщеславный и ленивый (А.И.) Тургенев, который выслуживался чужими трудами и плел себе венок из чужой славы, конфисковал его в свою пользу и дал ему у себя помещение.

Желая им похвастаться и им угостить, в один весенний вечер созвал он на него всех коротких знакомых своих. Я рано прийти не мог: принадлежа к Оленинскому обществу, я счел обязанностью в этот день видеть первое представление Расиновой *«Ифигении в Авлиде»*, коей переводчик, Михаил Евстафьевич Лобанов, был один из приближенных к Алексею Николаевичу (Оленину). Публика приняла трагедию хорошо; а так как один партер с некоторого времени имел право изъяз-

* См. о «Беседе» еще записки *Ф. Ф. Вигеля*, ч. III, стр. 151—152. Изд. «Русского Архива», М., 1892; Воспоминания В.И. Панаева в «Вестнике Европы», 1867, сентябрь, стр. 251—252 (здесь же о Державине на с. 245—254).

** *Записки Ф. Ф. Вигеля*. Изд. «Русского Архива», М., 1892, ч. IV, с. 168—177.

дять народную волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызвали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее.

С Крыловым, с Гнедичем и с самим, венчанным свежими лаврами, поэтом после представления прямо из театра явились мы к Тургеневу. Но, о горе! приход последнего едва был замечен. На Жуковском сосредоточивались все любопытные и почтительные взоры присутствовавших: он был истинным героем праздника. В помутившихся глазах и на бледных щеках Лобанова выступила досада, которую разве один я только заметил.

На этом вечере, в кругу не весьма обширном, мог я ближе разглядеть одного молодого человека, которого дотеле встречал в одних только больших собраниях. Щеголя светскою ловкостью, всякого рода успехами и французскими стихами, Сергей Семенович Уваров старался брать первенство перед находящимися тут ровесниками своими, и его откровенное самодовольствие несколько смирялось только перед остроумием Блудова и исполненным достоинства разговором Дашкова. Мне показался он нестерпим.

Барич и галломан во всем был виден; оттого-то многим членам «Беседы» он совсем пришелся не по вкусу; некоторые из них, более самостоятельные, позволяли себе даже подсмеиваться над ним. Это его взорвало, но покамест принужден он был молчать. Приезд Жуковского не нравился большей части Беседников, что и подало Уварову мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.

Он обманулся в своих расчетах: Жуковский, так же

как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нем и петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего, вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах был он скромн и прост: ни чванства, ни педантства, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не въявь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение его и всю знаменитость и всех друзей его.

Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21 сентября, праздновали у сего последнего. Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23 числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием *«Липецкие воды, или Урок кокеткам»*. Для любителей литературы и театра известие важное. Кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие, кроме двух Оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его ни к селу ни к городу вклеить одно действующее лицо в нее, которое все дело перепортило. В поэте Фиалкине, в жалком

вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена, еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее.

Победа казалась на стороне Шаховского; новая пьеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумом, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венки на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть, *les rieurs sont de son côté*» (насмешники на его стороне). Торжество Шаховского пуше раздражало нас. Ах, юность, юность! Ну, право, как будто и смешно и совестно за себя и за других, когда вспомнишь, как все эти пустяки почитали мы делом серьезным и важным.

Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, без-

вестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием «Видение в какой-то ограде». Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедовать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность. Главное было то, чтоб она дошла до Шаховского, и в чашу радости его много подлила она горечи.

Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в «Сыне Отечества» Греч начинал уже помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно, оттого-то согласился он напечатать в нем «Письмо к новейшему Аристофану» Дашкова, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было нетрудно: самым пристойным, почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил с плеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались оттого в неприятельском стане.

Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я и забавную его сторону. С родственником моим Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений, мы часто посещали друг

друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей насчет его патрона. Со своей стороны и он не слишком щадил сих последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом, пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердито-веселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не совсем уважения достойная, но как быть, дело от безделья.

Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией «Урок волокитам» в трех действиях и в прозе. Она была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким никогда я не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностью рода своего, чем новостью своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию.

Любопытно в это время было видеть Уварова. Он слегка был задет в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб изъяслять величайшее негодование. Мне кажется, он более рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже

себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который, как драгоценный алмаз, намерен был он вставить Жуковского. Опыт доказал ему, что он никакой подчиненности не может ожидать от соратствующих: все равно в петербургском большом свете он гораздо их более известен и в глазах его может показаться главою партии.

В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирало со смеху; единогласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал, как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания жребий должен был решать, кому председательствовать в следующем, для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. Уварову не могло это нравиться, но с большинством спорить было трудно; он остался при мысли, что время подчинит ему эту республику.

Все это знаю я только по слуху, ибо в этом первом заседании я не участвовал: Уваров забыл или не хотел пригласить меня на него. Удивленные моим отсутствием, все другие члены изъявили желание видеть меня между собою. Тогда собралось нас всего семь человек, которых в припадке ослепленного дружелюбия и самолюбия сравнивал я с семью мудрецами Греции, а общество наше называл то плеядой, то семиствольной цевницей.

«Арзамасское общество» или просто «Арзамас», как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов — Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее, за каждую шуткой следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какою целью составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем прошел еще век, в который молодые люди, как умные дети, от души умели смеяться; но конец его уже близился.

Благодаря неистощимым затеям Жуковского, «Арзамас» сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнести похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было, и положено брать их напрокат из «Беседы». Самим основателям общества нечего было вступать в него; все равно каждый из них в свою очередь должен был играть роль вступающего, и речь президента всякий раз должна была встречать его похвалами. Как в последних, странные испытания (впрочем, не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и

сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового Арзамасца. Все отвечало одно другому.

Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету, если позволено, так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамасских; эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.

Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем носили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом наречен я «Ивиковым Журавлем», Уварова окрестили «Старушкой», Блудова называли «Кассандрой», Жуковского «Светланой», Дашкову дали название «Чу», Тургеневу «Эоловой Арфы», а Жихареву «Громобоя».

Ни государь, ни Елисавета Алексеевна в это время не воротились еще из-за границы, а двор со вдовствующей императрицей оставался в Гатчине. Что удивительного, если в Петербурге деятельно занимались тогда всяким вздором. Глухо разнеслась в нем весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества. «Беседа» первая догадалась, что оно оживлено не совсем приятным к ней духом; в ней предполагали, что тайно готовятся на нее сильные нападения; кто скрывается, тот должен и иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписывать нам заговор против правительства. А, впрочем, кому же придет в голову, что порядочные люди собираются еженедельно единственно затем, чтоб умно подурачиться! Если бы неко-

торые из членов «Беседы», из тех, которые были поумнее, могли подслушать нас, то верно были бы успокоены и обезоружены. Правда, в похвальных им речах дарования их не слишком высоко оценивались, притязания их на авторство были осмеяны, но личности против них никто себе не позволял. Они бы узнали, что, устранив всякое педантство, Арзамасцы между собою не чинились и часто позволяли себе даже трунить один над другим.

Не менее «Беседы» взволновано было Оленинское общество: «Арзамас» казался ему загадкою, которой тайну я не спешил открыть ему. Из слов и обхождения Крылова и Гнедича мог я заметить, что они чуждаются падших и не дерзнут восстать на торжествующих. Вся эта истинно комическая история (ибо комедия Шаховского была началом ее) должна была иметь влияние на судьбу мою. В доме у Олениных Жуковский был принят с усиленной ласкою; со мною как будто ни в чем не бывало. Несмотря на то, я мог ясно видеть, что недавние связи совершенно разорваны...

В этой главе* хочется мне, кстати, досказать повесть о «Беседе» и «Арзамасе», хотя для того я должен буду выступить за пределы 1816 года. Оно будет не весьма длинно. «Беседа» в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание ее, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и, верно, очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угасал на берегах Волхова: летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и «Беседу». Божество отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.

Когда старуха-«Беседа» в изнеможении сил близи-

* Ч. V, с. 37—52.

лась к концу, в то же самое время молодой соперник ее все более крепился и мужал. Век его был также короток, но он оставил по себе долгие воспоминания. Новых членов, коими он обогащался, да позволено мне будет назвать здесь по порядку, неизвестных же читателю стараться познакомить с ним.

Первые им воспрятые были прибывшие из-за границы два дипломата. По летам своим Петр Иванович Полетика мог некоторым образом почитаться нам ровесником, но он всегда был старообразен: ему не было еще сорока лет, а казалось гораздо за сорок, и потому он не совсем подходил под стать к людям, из коих составлялась не академия, а общество довольно молодых еще, пристойных весельчаков. Служа в Иностранной Коллегии, состоял он при разных миссиях и изъездил почти весь свет. Из-за морей показывался он иногда в Петербурге и потом вдруг исчезал из него; во время сих быстрых появлений коротко познакомился он с сослуживцами своими, Дашковым и Блудовым; мне также не раз случалось с ним встречаться и разговаривать. Лишь только узнали о его приезде, единогласно, громогласно призвали его в наше общество. Он мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо ее знал; но, я повторяю, не одни литераторы нам были нужны. Его бы следовало принять почетным членом, тогда их у нас еще не было, все были одни действительные, и, нареченный «Очарованным Челном», не знаю как-то, ускользнул он от обязанности произнести вступительную речь. Недолго насладились мы его обществом; следующей весной назначен был он советником посольства в Лондон.

Вместе с ним из Мадрида и Парижа приехал один юноша, впрочем, лет двадцати пяти, приятель Дашкова, Д.П. Северин. Что сказать мне о сем новом сочлене нашем? В сокращенном виде был он Уваров, с тою, од-

нако, великою разницей, что последний был знатнее родом, гораздо красивее, во сто раз умнее и богаче и даже добродушнее его. Я думаю, оттого, что безмерные притязания Уварова давно уже обратились в права, а Северина и поныне еще терзает неудовлетворенное честолюбие. С нами, по крайней мере, не мог и не умел он позволять себе ничего резкого. Кто же в первой молодости был совершенно зол? Счастье почти всегда ласкает юность, да и самые неудачи так скоро забываются посреди тысячи развлечений, тысячи наслаждений. В это время худенький Северин был точно в молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. С годами взволнованная желчь, разливаясь по жилам и чертам его, в самый неприятный цвет, наконец, окрасила его лицо. Вот его наружность. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться — никогда еще не видал я холопство, облеченное в столь щеголеватые и благородные формы. У него были и литературные права: благоволящий к нему Жуковский имел слабость чью-то басенку в восьми стихах напечатать под его именем в собрании русских стихотворений. Он был совоспитанник Вяземского, товарищ по службе Дашкова, приятелем обоих, и потому-то двери «Арзамаса» открылись перед ним настежь.

Сейчас только что назвал Вяземского, а он тут и является. Он и В.Л. Пушкин приехали в Петербург вместе с Карамзиным и месяца через два с ним же воротились в Москву. В сие короткое время один усладил, а другой потешил «Арзамас» своим присутствием.

В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутст-

вующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. В это время только удалось мне видеть Нелединского, невысокого роста, умного, веселого, толстенького старичка, исполненного нежнейшей чувствительности и предававшегося самой грубой чувственности, написавшего немного прелестных стихов и, к сожалению, так много непотребных.

В этот же день потешили и В.Л. Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей, по меньшей мере, пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание «Старосты Арзамаса», с которым сопряжены были некоторые преимущества. Из них некоторые были уморительные и остались у меня в памяти; например, место старосты «Вота», когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия — в сердцах друзей его; он подписывает протокол с приличною размахкой; голос его в нашем собрании... имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.

Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы сгласнее и могло долее продлить свое веселое существование, но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.

Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина. Гораздо старше Жуковского, он, однако, же учился с ним вместе в Московском университетском пансионе, который оставил он несколько годов прежде него. Он принадлежал к партии Сперанского, находился под покровительством и в тесной дружбе с Магницким. Он

никогда не был выскочкою, держал себя тихо, скромно, удалялся от общества, оттого, может быть, не увлечен был их падением и сохранял значительное место директора медицинского департамента. Но без них он как бы осиротел и, как кажется, желал составить новые связи, пристать к чему-нибудь, к кому-нибудь. Придравшись к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать его сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его «Пустынником». Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обеславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт.

Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова. Наш поэт воспитывался в Белевском уезде, в семействе Буниных. Екатерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, вырастая с ним, любили его как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось больше чем приязнь, почти родство. Совершенная разница в наружности, в чувствах, в обхождении супругов, конечно, бро-

салась в глаза: он был мужиковат, аляповат, неблаго-роден; она же настоящая Сильфида, Ундина, существо неземное, как уверяли меня (ибо я только вскользь ее видел). Неужели это ему ставили в вину? Да какое неуклюжество не простил бы я, кажется, за ум, а в нем было его очень много. В душе его не было ничего поэтического, стихи, столь отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире. Лучшее произведение его было перевод Делилевых «Садов». Как сатирик имел он истинный талант; все еще знают его «Дом сумасшедших», в который поместил он друзей и недругов, над первыми смеялся очень забавно, последних казнил без пощады. Он был вольнопрактикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду, и потому-то мне не случилось доселе упомянуть о нем. Никто, может быть, так хорошо не знал русскую словесность; доказательством любви его к ней служит принятие звания профессора ее в Дерптском университете. Это всех удивило и многим не понравилось; наши дворяне, и особенно старинные, как он, гнушались тогда всем, что походило на учительство — они не были современниками Гизо и Шевырева. Воейков никак не обиделся данным ему у нас названием «Дымной печурки».

Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и манерах, поставил Жуковский в «Арзамас». В первой молодости представленный в большой свет, Александр Алексеевич Плещеев пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такую способностью не трудно было ему перенять у французов их пого-

ворки, все их манеры, и сие делал он уже не в шутку, так что с первого взгляда нельзя было принять его за русского*.

По заочности были приняты еще два члена: Батюшков, как уже сказал я, под именем «Ахилла», и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем «Армянина». Первый следующею осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве, там вместе с Вяземским и Пушкиным составили они отделение «Арзамаса», и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горного «Арзамаса», не имея на то права.

Я все откладывал говорить о некоторых членах, вступивших в «Арзамас», как ныне полагать должно, с дурными замыслами. Тяжко мне изображать людей, возбудивших во мне приязнь и уважение, после прославивших себя преступными заблуждениями, но коих память, несмотря на то, все еще осталась мне любезна.

По тесным связям Александра Тургенева с другими членами был он принят в «Арзамас» как родной, и, кажется, ему самому в нем полюбилось. Тут он нашел нечто похожее на немецкую буршеншафт, людей уже довольно зрелых, не забывающих студенческие привычки. В нем не было ни спеси, ни педантства; молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца «Варвика». Он не скрывал своих желаний и хотя ясно видел, что ни один из них серьезно не может разделять их, не думал за то досадовать. Вскоре, движимый одинаковыми с ним чувствами, вступивший к нам новый член был гораздо его предприимчивее.

* [Прозван был «Черным враном».]

В Михаиле Орлове почти все заимствовано у Запада: в конституционном государстве он равно блистал бы на трибуне, как и в боях; у нас под конец был он только что сладкоречивым, приятным салонным говоруном.

Однако же и в России тогда уже был он хотя самым молодым, но совсем не рядовым генералом. Император имел о нем высокое мнение и часто употреблял в важных делах. В день Монмартрского сражения его послал он в Париж для заключения условий о сдаче сей столицы. После того отправлен был он датскому принцу Христиану, объявившему себя норвежским королем, дабы уразуметь его и заставить помириться со Швецией и Бернадотом. И такой препрославленный человек пожелал быть с нами! С восторгом приняли мы его. Не знаю почему, я думаю, по плавным речам его, как чистые струи Рейна, у нас получил он название сей реки. Почти все те, с которыми тогда я был знаком, были молодые люди с богатым состоянием, по службе на прекрасной дороге, которым в настоящем порядке вещей будущее сулило всякого рода успехи, и всем этим готовы были они пожертвовать. Чему? Идее. Одним словом, они готовы были, вопреки пословице, променять ястреба на кукушку, бессмысленно твердящую одно имя — свобода. Ими населена была гостиная госпожи Е.Ф. Муравьевой; а как все Арзамасцы были также частыми ее посетителями, то сын ее Никита Михайлович без всякого затруднения поступил в их общество. Ему одному только не помню я, какое дал прозвание Жуковский*.

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как, например, ба-

* «Лебедь статный» — арзамасское прозвище Н. Муравьева.

рон Корф, поэты, как барон Дельви́г, военноуче́ные, как Вальховский, политические преступники, как Кюхельбекер. На выпуск же молодого А.С. Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. Почти всегда со мною так было: те, которых предназначено мне было горячо любить, на первых порах знакомства нашего мне казались противны. Спросят: был ли и он тогда либералом? Да как же не быть восемнадцатилетнему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканскою кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре. Я не спросил тогда, за что его называли «Сверчком», теперь нахожу это весьма кстати, ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лица, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос. Я здесь не буду более говорить об Александре Сергеевиче Пушкине, глава эта и так уже слишком растянута. О, если б я мог дописаться до счастливого времени, в которое удалось мне узнать его короче! Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападавая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее, — его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его.

Показалось Орлову, что свободная стихия достато-

чно наполняет «Арзамас», чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание открыто было в павильоне Штейна, как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горестью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостию и смелостию идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия общества, он находил необходимым и умножить число его членов, сверх того предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного. Изумив сочленов своих неожиданностью предложений, он надеялся вырвать их согласие.

Не знаю, каким образом о намерении его заблаговременно предупрежденный Блудов отвечал ему также приготовленной речью. Учтивее, пристойнее и вместе с тем убедительнее нельзя делать опровержений; он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о коем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда обращается в факел зажигательства; и сие сравнение после того не раз случалось мне слышать от других. Когда вспомнишь это прение, кажется, что будущий жребий сих людей был написан в их речах.

Орлов не показал ни малейшего неудовольствия, вечер кончился весело, и все разъехались в добром со-

гласии. Только с этого времени замечен стал совершенный раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов, тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при Вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. И, действительно, в этом году с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном.

Ф. Вигель

II*

Против Шишкова и других тогдашних славянофилов, и отчасти против Державинской «Беседы», где они нашли себе прибежище в литературе, учреждено было в Петербурге то шутливое «Арзамасское общество», о котором напечатал в «Москвитянине» А.С. Стурдза**.

Оно названо было Арзамасским вот по какому случаю. Воспитанник петербургской Академии художеств живописец Ступин переехал на житье в Арзамас и завел там школу живописи. Я, в один проезд мой через Арзамас с моим дядею, посещал его и с ним познакомился. Молодые литераторы, которым, при всем уважении к предприятию Ступина, казалось смешным, что в Арзамасе есть школа живописи, назвали ее «Арзамасскою Академиею» и в подражание этому учредили в Петербурге «Арзамасское ученое общество».

* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 81—83, 88—90.

** «Москвитянин», 1851, ноябрь, кн. I, с. 13—17.